

Мандельштам, Осип

Запах моря, запах мира

Шум времени Осипа Мандельштама

В немецкой деревне Унтермаубах, земля Северный Рейн – Вестфалия, в доме молодой женщины Айке Смиитс на столе лежал томик Мандельштама в переводе Пауля Целана. Айке по-русски не знала ни слова, я попросил прочесть вслух что-нибудь из Осипа. Мандельштам – или Целан? – звучал изумительно мелодично. Айке призналась: она не понимает этих стихов, ей внятны только звуки. Еще бы: она читала “Грифельную оду”, которую и по-русски понять трудно. Но важен факт – в Германии лились стихи, и они были музыкой.

Это было относительно недавно, летом 2001-го, а много лет назад на одном из островков архипелага Римского-Корсакова, в сентябрьской ночи, под крупными внегеографическими звездами, толпа скульптур шла по направлению к Великому океану: на островке обитал Валерий Ненаживин, его мастерская была под открытым небом, неподалеку неприступно мерцал Русский остров, военная крепость. В той толпе еще не было Осипа, он появится позже, когда скульптор переедет во Владивосток и получит мастерскую на улице Русской. “В стенах Акрополя печаль меня снедала. По мастерской имени и русской красоте”. Мастерская находится в стенах бывшего лагерного лазарета. На ее потолке остался лихорадочный блеск мандельштамовских глаз.

Я видел его, еще глиняного, в полтора роста, с руками у горла, в жалких эззовских отряпах. Голова задрана. Он всегда ее задирает.

Работа Ненаживина станет первым в мире памятником Мандельштаму. Который с трудом, при помощи Андрея Битова, будет установлен на виду, на проспекте Столетия Владивостока, на том месте, где предположительно погиб поэт. Там некогда злились овраги, куда сваливали мертвых эзков. “И потому эта улица, Или, верней, эта яма, – / Так и зовется по имени / Этого Мандельштама”. Тело поэта пропало в той яме, и чуть не пропал памятник: пришли вандалы с ломом, нанесли увечья бронзе, Ненаживин восстановил потерю, Осипа перенесли в иное место, более укромное – в сущности, в некую яму. Опять.

У Мандельштама нет интуиций, связанных именно с российским Дальним Востоком. Он не написал ничего подобного хлебниковскому “Перевороту в Владивостоке”. “Уведи меня в ночь, где течет Енисей” – восточней Сибири он не заглядывал. Его ментальный Восток был вычитан, очерченный кругозором старых китайцев. “Роскошное буддийское лето” он зафиксировал в душевной Москве. То есть он сам привел Восток в Москву, азиатчина угнетала, Евразия восторгалась, просветление не просматривалось: “В черной оспе блаженствуют кольца бульваров”, однако: “Чур! Не просите, не жаловаться, цыц!” В его Москве живо присутствуют Рембрандт, Рафаэль, Моцарт, Тициан, Тинторетто – живописный Запад, вечный воздух мировой культуры. Москва открыта всем ветрам, автогерой на удивление динамичен, кидается на телефонные звонки, передвигается на трамваях, на извозчиках, на своих двоих. Есть тут и бытовой Восток локальной экзотической выпечки: “...чистые и честные китайцы. Хватают палочками шарик из теста! Играют в узкие нарезанные карты: / И водку пьют, как ласточки с фицзы!”

Это не комнатное стихотворство. Его пешие прогулки были ежеутренними. Он боялся домашних стен не меньше, чем миллионеров, опасливо-океаноморноно воспитан: “Часовых я не боюсь”. Раненая психика лишена стойких свойств. Надерзывать жуткому Блюмкин – и тут же сбежать, уйти в нети, из ступиц, тени своей бояться – и читать чуть не на всех углах антисталинский стих. Пастернаку – на Тверском бульваре. Пастернак отшатнется, скажет: я этого не слышал. Теперь на место той встречи и того чтения смотрит мемориальная доска со стены Литинститута. В тех стенах он одно время жил, там вздорил с соседом, писателем, и обругивал из окна проходящих коллег.

Он был непредсказуем и неразумен, как та его пощечина графу А.Н.Толстому. Не Горький, но Толстой (между прочим, некогда входивший в “Цех поэтов”) был совершенно законченным образом, холемым лицом литературской субстанции. Ахматова пряталась от Толстого в тахтешной эвакуации, потому что она все понимала и про Осипа знала все.

Редко и трудно печатаясь, он выгнал молодого поэта, пришедшего к

нему с плохими стихами и жалобами на то, что его не печатают. На лестничной площадке он кричал, перевешиваясь через перила:

– А Будда печатался? А Христос печатался?

В Чердыни он выбрасывается из больничного окна, безотносительно к давнему похожему прыжку Бальмонта. Тот и другой понесли увечья, но причины постулков были исключительно разными. У Бальмонта – любовная драма, у Мандельштама – онтологический страх системы, застеночной запертости, Медного Всадника новой деспотии, безумие. “Не сравнивай: живущий несравним”. Его не с кем сравнивать.

Больше всего он не похож на того, с кем он обречен быть сопоставленным – с Пастернаком. Это по-своему, по обыкновению самоуничтожаясь, отметил и сам Пастернак: “Да ведь мне в жизнь не написать книжки, подобной “Камню”!” Пастернак убежал с Тверского не потому, что глаза его страха были более велики, нежели у Осипа. Нет, это были две разные линии поведения. Два вида отщепенства. Свой угол внутри системы (Пастернак) был чем-то недостижимым для человека без двора и без кола (Мандельштам). Недостижимым и чуждым по сути. Не было ни гроша да вдруг алтын: обречение квартиры было событием эпохальным, удостоенным особого стихотворения, событием, равным разве что вселению литейщика Ивана Козырева, воспетому Маяковским. Счастье литейщика неведомо поэту, тут все наоборот: “Видавшие виды манатки. На улице просятся вон”. Из той квартиры. Благополучие ложно, его нет. “И столько мучительной злости... / Таит в себе каждый намек, / Как будто вколачивал гвозди. / Некрасова здесь молоток”.

Он вручил Некрасову молоток, а Фету – карандаш. Даже так: “И всегда одышкой болен / Фета жирный карандаш”. Не странно ли? Ведь речь о самом тонком мастере русского стиха XIX столетия. Но Мандельштам и Чайковского (с детства любимого) назвал “Моцартом на бобах”. Он слышал мир иначе. “Звук сузился”. В эту звуковую щель Фет не вмещается. Слишком широк, слишком изначально по природе счастлив, щедро симфоничен, то есть жирен. Ему противостоит “Лермонтов, мучитель наш”. О котором в прозе сказано между тем: “Лермонтов никогда не казался мне братом или родственником Пушкина” (“Книжный шкаф”).

Отдельное, чуть не родственное чувство он питал к Надсону. “Не смеи-тесь над надсоновщиной – это загадка русской культуры и в сущности непонятный ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они (современники Надсона, “учащаяся молодежь” – И.Ф.). Он

Он боялся домашних стен, не меньше, чем миллионеров, тени своей боялся – и читал на всех углах антисталинский стих.

саркастически воспроизводит слова профессора Венгерова, своего родственника, о “героическом характере русской литературы”, вообще говоря, имея в виду то же самое. Стихотворение “За гремящую доблесть грядущих веков...” Мандельштам, О.Э. и Н.Я., между собой называли Надсоном. Но там был не только Надсон. Об этом очень точно пишет Омри Ронен (США): “Мы живем, под собою не чуя страны...” – это не эпиграмма, а именно инвектива в жанре сатирической баллады, размером и просторечивым стилем напоминающая о “Потоке-богатере” А.К.Толстого (“Едет царь на коне, в зипуне из парчи, / А кругом с топорами идут палачи, – / Его милость собираются тешить, / Там кого-то рубить или вешать”). Ахматова сразу определила “монументально-лубочный и вырубленный характер” сатиры Мандельштама – и этот ее отзыв записан в протоколе его допроса.

Ронен говорит о том, что стало источником, предшествовало мандельштамовской инвективе. Но ритм этого стиха (Блок: “стиль есть ритм”) остался надолго в русских стихах, пробиравшись наружу самым причудливым, если не парадоксальным образом. От “Триполья” Бориса Корнилова (“Пять шагов, коммунисты, кацапы и жида... Коммунисты, вперед – выходишь вперед”) до мехировского “Коммунисты, вперед!” Тот же ритм звучит и у Луговского: “С первым ветром весны торопись на восток” “Ах, Елена, Елена, зачем ты мне снишься?”. “Выходи на



О.Мандельштам. 1914 г.

балкон. Слышишь – гуси летят”. За внешним слоем иных смыслов и стилистик стоял, бился и становил тот самый ритм. Но подступно Мандельштам ритмически следовал самому себе: “Мы живем, под собою не чуя страны...” (1933) – вариативный звуковой повтор предшествующего “За гремящую доблесть грядущих веков...” (1931), четырехстопный анапест, тайно несущий на себе ту же самую тему противостояния силе вещей.

Мандельштамовские абберации известны. Вроде той, что Пенелопа у него “вышивала” (она ткала), – когда ему сказали об этом, он разгневался и отмахнулся. Ахматова добродушно посмеивалась над эрудиционными ошибками Осипа. Это было поразительно: абсолютное слышание материала наряду с нелепыми промахами. Так был устроен его мозг; некоторых сведений не усваивающий или выталкивающий из себя. Общий принцип его мышления: “Я не боюсь бессвязности и разрывов” (“Египетская марка”).

А все-таки приходится сравнивать. У Валерия Брюсова был всепоглощающий интеллект, ничего на ходу не терявший. Но я о другом. Брюсовское стихотворение “Мир” посвящено воспоминаниям детства, той среды – купеческой, в которой он вырос. “Я помню формы, звуки, запах... О, и запах! <...> И запах надо всем, нежалеющие когти. Вонзающий в мечты, в желанье, в речь, во все! / Быть может, выросший в веревках или дегте / Иль вползший, как змея, в безлюдное жилье / Но царствующий здесь над всем житейским складом, / Проникший все навзвезд, держащий все в себе! / О, позавистый мир! И я дышал тем ядом / И я причастен был твоей судьбе!” У Мандельштама есть стихотворение “С миром державным я был лишь ребячески связан...”, где говорится не только о державности (государственности как таковой). Здесь вспоминаются и пляска цыганки, и черноморские нериды, и европейки нежные, и лебеди бодива, наконец. Это все факты поэзии, ее символы. Но речь о прозе. В прямом смысле – в жанровом. Обожаемый сладкого (в стихах это отзывалось), вечный отрок “с ресницами – нет длинной” (Цветаева), в прозе он трезвеет, сухо и горько смотрит на детство, проведенное в той же прагматичной среде, что и у Брюсова. Это усугублено “хаосом иудейским”, “запахом юдаизма”. Вот основное ощущение, доминанта подобного детства: “До сих пор мне кажется запахом яра и труда – проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкур-

ки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши – все это и мешанский письменный стол с мраморным календариком плавают в табачном дыму и обкурено кожей” (“Шум времени”).

Сквозь тучу этих запахов проридилась русская поэзия Серебряного века, не сумев избавиться от них до конца. Это уже не аристократы или разночинцы прошлого. Из родительских оков култи-продажи на свет культуры прорвались дети дегтя и дубленой кожи. Мандельштам не понимал отца, изъяснявшегося на вымышленном, сконструированном языке на немецкой подкладке. Мать говорила на хорошем русском. “Слово “интеллигент” мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью”. В книжном шкалу поверх “талмудических дебей” стояло нечто иное, “материнские русские книги – Пушкин в издании Исакова семьдесят шестого года”, Лермонтов, Гоголь.

Те из нас, кто родился до середины прошлого века, пели песню “Москва – Пекин”. Задним числом она оказалась дикой, навыворотной аллюзией на зачин мандельштамовской статьи “Литературная Москва” (1922): “Москва – Пекин; здесь торжество материка, дух Среднего царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины. Кому не скучно в Среднем царстве, тот – желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира? Он дышал запахом мира, но и море пришло к нему, и оно было Черным, в сущности античным. Его Европа была такой: “Как средиземный краб или звезда морская / Был выброшен во-

Торжество Мандельштама произошло из ощущения сиротства и беспросветности, охвативших новое поколение поэтов (“поколение сторожей”).

дой последний материк / К широкой Азии, к Америке призыв / Слабеет океан, Европу омывая”. Окончательным же запахом моря стал запах Амурского залива, на берегу которого раскинулся Дальний.

На том же берегу я по благу получил синего Мандельштама, “Библиотека поэта”, 1973. Мне принес его из партийной лавочки инструктор идеологического отдела Приморского крайкома КПСС. Именно в 70-х Мандельштам окончательно и бесповоротно “наплыл” на русскую поэзию. В 60-х царил Пастернак. Торжество Мандельштама произошло из ощущения сиротства и беспросветности, охвативших новое поколение поэтов (“поколение сторожей”). Он стал культом, как бог Нахтигаль из все того же стихотворения “К немецкой речи”: “Бог Нахтигаль! Меня еще вербуют...” Пастернаковские “почва и судь-

ба” подвергались некоторому сомнению. Наступило время всеобщей воронежской тоски по морю и Тоскане.

“Уведи меня в ночь, где течет Енисей”. Я был на Енисее, искал там могилы предков в деревне Солонцы – не нашел. Под местным сельпо молодой бухарь в желании задаться спросил: “Ты не из табора?” Рядом, за рекой Кача, расположился цыганский табор. Все это отдавало Мандельштамом: вместо искомым могил – вечное странничество под угрозой мордобоя. Лет через двадцать меня занесло в город Александров, в ту самую свободу, где Марина с Осипом гуляли по кладбищу. Там все еще веяло многовековым пребыванием Ивана Грозного. Музей сестер Цветаевых кренился, заваливался набок, на ремонт не было денег. Это была обыкновенная изба, ветхая, в опасной близости к исчезновению. Там Марина 8 июля 1916 своим прямым, мелким почерком гимназистки написала “Москва! Какой огромный Странноприимный дом! Всяка на Руси – бездомный. Мы все к тебе придем”. По той Москве она водила Осипа, даря ему Москву. Это было до его визита в свободу, из которой он – по обыкновению внезапно – сбежал. Уже на черноморском берегу вскоре-сти появился тот, что из поэзии не исчезнет никогда: “Целую локоть загорелый. И лба кусочек восковой. Я знаю: он остался белый. Под смуглой прядью золотой”. Цветаева посвятила ему девять стихотворений, он ей – три: для него это огромное количество.

Ну и нрав был у ее адресата. Через каких-то шесть лет он пишет, пренебрегнув прежним взаимообогащением, о “богородичном рукоделии”, “беззвучице и фальши стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лже-московских...”. Точно так же разноречив он и в отзывах об Ахматовой – от “символа величия России” до “паркетного столпничества”. Эта крутая переменчивость напоминает его же слова о Маяковском: “Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину совершилось”. За латинской медью иных его стихов билось андрогинное сердце, не защищенное никакими ла-тами. “Я в хоровах теней, топтавших нежный луг / С певучим именем встал...” То были девичьи тени. “Лирический поэт, по природе своей, – двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога” (“Франсуа Виллон”, 1913).

Его рекем по Андрею Белому – вершина жанра, стон любящего сердца. Но судьба – поистине злодейка. Он не знал о том, как относится к нему Белый. А там все было непростое. Они общались в столовой кокетельского Дома творчества, Мандельштам читал Белому свой “Разговор о Данте”. В те июньские дни 33-го года Белый писал пролетарскому писателю Ф. Гладкову, человеку неглупому: “М. мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то “жуликоватое”, отчего его ум, начитанность, “культурность” выглядят особенно неприятно...)”. По-видимому, Белый не позавыл слов, некогда брошенных Мандельштамом в горячке литературной полемики: “Андрей Белый, например, – болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, собираясь исключительно с темпераментом своего спекулятивного мышления. <...> Основной грех писателей

Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень” (“Буря и натиск”, 1923). Верный акмеистической юности, он приветствует всех, кто того достоин. Смысл поэтической деятельности он видит в равновесном сочетании **изобретения и воспоминания**. Направленческие этикетки его не интересуют. Крученых, поэт без стихов, хорош хотя бы преданностью поэзии. Современники плохо видят, много путают, чаще всего им не до стихов вообще. “О, чудовищная неблагодарность: Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь они все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда” (“Выпад”, 1924). И еще, очень важное: “...вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона”. Белый и есть то самое лono.

Мандельштам не был критиком. На многое отозвавшись и даже некоторое время посидев в газете на стуле литсотрудника, он оставался поэтом, не больше, чем поэтом. Он настаивал на автономности прозы и стремился писать именно прозу, однако это все равно было поэзией, только трезвой. Поэзией, похожей на прозу. Ахматова, видя в “Четвертой прозе” прозу будущего, или новую прозу, была права, но – в противоположном направлении: к поэзии. Ведь сам Мандельштам, пророча относительно будущей прозы “распыление биографии”, дал образец сугубого, концентрированного (автобиографизма), мучительного бие-ния конкретного, своего “я”, и попытка дистанцирования от себя в “Египетской марке” – лишь игра с маской, потому что все, что он писал в стихах и прозе, было сплошным шумом времени.

Он полюбил Кавказ, Армению, Грузию. В 67-м году “Литературная Грузия” дал его большую подборку с блестящим предисловием (Маргвелашвили). Через двадцать с лишним лет в Тбилиси, углоадам благородными грузинами, я прочел наизусть “Мне Тифлис горбатый снится...”, запомненный еще по той грузинской публикации. Над столом нависла тягостная пауза. Оказывается, Осип чем-то оскорбил Грузию. До сих пор не знаю – чем.

Он рано постарел, неузнаваемо переменился. На поздних семейных фотоснимках он выглядел старше собственного отца. Привычка запрокидывать голову сызмала не покидала его, он так и прогуливался по Воронежу, в чужой шубе, гордо закинув голову, – местные пацаны считали его генералом. В Дальлге не осталось никакой снованности, ходил в лохмотьях, приговаривал еду у собратов по несчастью, бывал бит. По уходе оставил стойкую вдову – любящее сердце, кремневую память, ходячий архив, сильного писателя, много рассказавшего о покойном муже. Ревнивая Ахматова, дружа с Надеждой Яковлев-ной, истинной вдовой все-таки ощущала себя, как кажется. Но она была и вдовой Пушкина...

В первый его арест 14 мая 1934 Ахматова, гостя у Мандельштама, все видела своими глазами. Она пошла к Енукидзе, Пастернак – к Бухарину. Арест Мандельштама был, так сказать, подарком съезду – писательскому, имеющему быть вот-вот. Когда Мандельштам томился на Лубянке, Пастернак мучительно проживал свой съездовский триумф. Потом была Чердынь, где “пахнет Обью и Тобол в раструбе”, потом – другие реки: Дон, Ворона. Воронеж, в свою очередь, был подарком Мандельштаму от Сталина, результатом всяческих хлопот и легендарного звонка вожда к поэту.

На крыше нынешнего воронежского вокзала застыла группа скульптур. Что-то колхозно-пролетарское. В руках – орудия труда: похожие, отбойный молоток и т.п. По ночам в пустой глупине здания наверняка сидит одинокий седой старик, сгорбившись под тяжестью отягощенной чугуном крыши. Что, если что-нибудь провалится, свалится на голову? Железнодорожный гул сливается с шумом многоводных русских рек в разных краях отечества. Воронеж спит. Улицы Мандельштама там нет.

Илья ФАЛИКОВ
Фото ИТАР-ТАСС